

Даур Начкебиа

ЛИЦОМ К ЛИЦУ...

Публицистика

Литературные отклики

СУХУМ

2005

ББК 76.01 (5А6х)

Н 36

Даур Начкебиа. Лицом к лицу... / Публицистика. Литературные отклики. – Сухум, 2005. – 342 с.

В книгу Даура Начкебиа «Лицом к лицу...» вошли литературные отклики, статьи на актуальные темы и политическая публицистика, печатавшаяся в газете «Айтайра» под рубрикой «Угол падения».

© Д. К. Начкебиа, 2005

I

ВЧЕРА...

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Более полугода идет война. Враг беспощаден и жесток, он даже не старается скрыть своей цели – полного истребления нашего народа.

Вновь, как не раз за нашу историю, мы вынуждены силой оружия утвердить себя на своей земле, завоевать право быть абхазами.

Война, с ее убийствами, разрушением основ культуры, духовности, несовместима со здравым смыслом, нормальному человеку невозможно примириться с ней. Но спросим себя: разве не было безысходным то время, когда наш народ душили тихо, исподтишка, когда годами из него вытравливали чувство собственного достоинства, когда он не смел выражать свою волю, когда должен был молчаливо и покорно дожидаться приговора тех, кто решал его судьбу?

Мы не можем не ответить на это утвердительно, даже сознавая при этом весь трагизм, чудовищность, нравственную неоправданность войны. Есть высокое мужество в принятии своей судьбы. Судьбой нам дан шанс стать хозяевами своей страны, и упускать его было бы крахом нашего народа, бесславным окончанием целого этапа его многовековой истории.

В своей борьбе мы не одиноки. Человечество не осталось глухим к нашей боли. Конечно, нам хотелось бы, чтобы поддержка мирового сообщества была более ощутимой, действенной. И всё же в мире, где добро и зло переплетаются невообразимыми узорами, и распознать их, вычленив бывает порою трудно, мы не имеем права обвинять человечество в нравственной несостоятельности. Нам надо понять, что стать собою, вернуться к себе мы можем только сами.

Сегодня через невероятные трудности и лишения, через беды войны создается наше государство. Сегодня решается и вопрос, каким оно будет: будет ли оно государством свободных людей или же обретенная внешняя независимость обернется внутренним угнетением. Ибо сегодня, в смутное время жестоких испытаний, могут быть посеяны семена разгула коррупции, засилья бюрократии, кланового раздела Абхазии, будущего внутреннего раздора, неустойчивости, безоглядной животной борьбы за власть, за «теплые места», за «кресла». Всё это повергнет нас в недостойное, несвободное существование.

Но я надеюсь, что в эти дни необыкновенно прозрачной ясности нашего духа мы излечимся от нигилизма, саморазрушительного отрицания, безверия и

у нас достанет сил быть истинно живыми в рождающемся в таких муках Абхазском государстве. Из сегодняшней трагедии мы должны черпать силы для будущего, трагедия эта должна стать тем очистительным потоком, который омоет дух нашего народа. Мерзости, существовавшие в нашей довоенной жизни, должны быть сметены этим потоком, подобно тому как Геракл очистил авгиевы конюшни.

1993

(Газета «Республика Абхазия», № 15 (268), 19 марта 1993 года.)

ЧТО СТАЛО С АБХАЗСКОЙ МЕЧТОЙ

Современная утопия

«А была ли она – Абхазская мечта?» – недоверчиво спросит иной согражданин, ярый поклонник газет, в них только и ищущий ответы на все вопросы жизни. В газетах он явно не найдет ничего похожего на Абхазскую мечту (не принимать же за нее спорадически объявляемую кампанию по ограничению возлияний и чревоугодия на похоронах и свадьбах!). Никто ее не декларировал, указом или другим волевым решением сверху она не включалась в обиход наряду с неполноценным идеологическим товаром, имеющим хождение в нашем обществе. В запаздывающих (скажем самоутешительно) планах обустройства страны вряд ли она будет представлена, и не только потому, что тяжеловесная и прагматичная логика государственного механизма мало совместима с чем-то бесполезным и эфемерным, каковой представляется многим мечта. Фатальное неумение большинства государственных мужей думать хоть на шаг вперед, их сверхэнергичная занятость собственным

обустройством и сиюминутным рождают стойкое и злокачественное ощущение, что всё пущено на самотек и мы безвольной цепкой носимся по волнам в глупом ожидании, что нас непременно прибьет к желанному берегу. И в этих условиях говорить о каком-то предвосхищении или подготовке будущего не приходится. Но всё это не отменяет ту надежду, которую вынес наш народ из войны и которую я называю Абхазской мечтой.

Всякому народу, перенесшему тяжкие испытания, свойственно видеть будущее в радужном свете. В значительной мере основу этого составляет не только надежда на снисходительность судьбы, но и уверенность, что народ, как и в страшную годину, и в дальнейшем будет оставаться невиданно сплоченным, что люди будут так же заботливы и жалостливы друг к другу, что все заживут «в обнимку» (если дословно перевести частое, с оттенком сожаления по поводу несбывшихся чаяний, выражение в устах нынешнего абхаза). Я уверен, каждый абхаз носил в душе такую веру, она скрашивала ужасы войны, помогла совершить, без преувеличения, почти невозможное – победить превосходящего противника, изгнать оккупанта.

Может, вера эта была близорука, наивна и свидетельствовала о недостаточном знании или же приукрашивании человеческой природы. Но мечта устроить жизнь по возможности справедливо, гуманно, в согласии с нормами добра всегда жила в сердцах людей, хотя раз за разом реальность самым жестоким образом сокрушала ее. Справедливость возможна тогда, когда общество будет как единая семья, когда сострадание и любовь друг к другу возьмут верх над безразличием и себялюбием. Наша малочисленность как народа, размеры нашей страны всегда располагали к пронзительному ощущению жизни в единой семье, под одной крышей, в одном доме. Это ощущение лежит в основе нашего менталитета, в основе неписаного кодекса поведения и миропонимания абхаза, дошедшего до нас в виде Апсуара.

Традиционное абхазское общество зиждилось на взаимопомощи, коллективизме. Не на принудительном коллективизме вульгарного, колхозного пошиба. Коллективизм наших отцов был освящен высоким авторитетом обычаев, был естествен для абхаза. Он ощущал себя равноправным и равноценным членом дружного сообщества и имел возможность убедиться в искреннем соучастии и сочувствии остальных к себе. Коллективизм тот был действен и не тягостен – ведь обычно легко делается то, что делается с любовью, с сознанием нужности себя и своего дела людям. Жизнь была скреплена не тягостными, но обязательными нормами, надежность, незыблемость которых ежечасно подтверждались бытием абхаза.

Такая уверенность в крепости фундамента народной жизни, может, и делала абхаза несколько безмятежным, что в сочетании с красотой Апсны и плодovitостью, щедростью ее земли предрасполагало к некоторой созерцательности. Представителями других стран, с более суровым климатом и серой, скучной природой, «безмятежность» абхаза ошибочно воспринималась как лень. (Кстати, утверждение это, оскорбительное и, самое главное, лживое, подхвачено нами самими, мы уверовали в него, оно служит нам еще одним самоуспокоительным оправданием несуразницы нашей жизни, еще одним якобы присущим нам от века неискоренимым изъяном. Но когда об этом говорят некоторые начальники, проскальзывает совсем другое. Наш народ не ленив, но горд. Он видит, что его из коммунистической кабалы хотят загнать в другую, и сопротивляется как может, прикидываясь ленивым тоже.) Но одновременно щедрость и красота Апсны были тем счастливым обстоятельством, которое не давало в нашем народе расцвести духу чистогана, накопительства, страха нужды. Энергия народа была направлена на высокое, она вся не растрчивалась на пресловутую борьбу за существование. «Человек рожден для доброй славы!» – говорили абхазы.

Я отнюдь не идеализирую прошлое. Дух той культуры был таким, какие бы частные отклонения ни были. Большинство из нас имели в жизни уникальную возможность общаться с непосредственными носителями той культуры – нашими дедушками и бабушками, нашими стариками. У каждого народа свое ощущение времени. Для абхаза события столетней давности – седая старина, для европейца же – вчерашний день. Дело в том, что наш народ за это время прошел слишком длинный и во многом неестественный путь, история гнала его семимильными шагами. Но наши старики донесли до нас живой голос того времени – начала века, когда в Апсуара еще сохранялся незапятнанным ее дух. Скучные письменные свидетельства, большей частью иноземцев, не идут ни в какое сравнение с рассказами очевидцев и соучастников Апсуара. Из них становится ясно, что умеренность, сдержанность, стыдливость, совесть были главными ценностями. О том же писал А. Чачба-Шервашидзе: «Мы живем среди народа с красивыми, древними обычаями, с большой, красивой внутренней душевной культурой... Я представляю себе их (абхазов – *Д. Н.*), стройных, ловких, очень вежливых, с большим достоинством, молчаливых, умеренных во всем, стойких и твердых. В этом вся наша культура».

Человек ценился за его отзывчивость и душевную щедрость, за доблесть и мужество в защите слабых. Народ, который за свою долгую историю не раз стоял у края пропасти и отчаянно хватался за соломинку, чтобы спастись, не мог не создать такой нравственный идеал – защита слабых.

Если вспомнить Эриха Фромма, абхаз предпочитал «быть», нежели «иметь». Потому тугость кошелька, богатство, другие знаки земного могущества не очень высоко ценились им, тем более если они были добыты несправедливым путем. Стяжательство, жадность, корыстолюбие считались неумеренными проявлениями естественного желания «иметь», потому порицались. Не эгоизму и изнурительной и недостойной борьбе за место под солнцем, причинами которых обычно выступают алчность и равнодушие, а то и

ненависть к ближнему, был дан ход в этом обществе, а умеренности и заботе о других. Сам феномен абхазского долгожительства, как глубоко и тонко замечает Баграт Шинкуба в своих размышлениях о нашем этикете «Пока живы корни – дерево растёт», был следствием культуры, основанием которой служила Апсуара.

Абхазы не понимали чрезмерного усердия в физическом труде. Человек, слишком озабоченный своим полем, стадом, садом, допускал низведение человеческого предназначения – «заиметь добрую славу» – до узкоутилитарного смысла. Такого презрительно называли «жрущим землю». Перехлест, в чем бы он ни выражался, вызывал недоумение и несогласие, осуждение абхаза. Всякие излишества не только вредны, стыдны, они еще и неэстетичны. Дух красоты пронизывает все установления Апсуара: соразмерность, согласованность, изящность, отсечено всё лишнее, отталкивающее. Абхаз вел себя так, чтобы невольно не вызвать в другом дурные мысли и чувства, то есть то «лишнее», что принижает достоинство человека, обращая его взор на мелкое, суетное. А это возможно лишь при умеренном и сдержанном образе жизни.

В упомянутой брошюре Баграт Шинкуба приводит слова известного долгожителя Шхангери Бжания: «Апсуара и наша Родина созданы друг для друга, они подходят друг другу, поднимают, дополняют друг друга!» Действительно, на этом клочке земли абхазы создали тип культуры, гармонизировавший их жизнь с окружающим миром, который они считали огромным, хотя прекрасно знали, что географически Апсны не так уж и велика. Велики были творческие возможности, которые представляли Апсны и Апсуара.

Но послевоенная жизнь внесла коррективы, может быть, более опасные для будущего нашего народа, для сохранения его самобытности, чем угроза физическому существованию. Семидесятилетнее извращение основ народной

жизни дало плоды в виде забвения принципов Апсуара. «Добрая слава», которую абхаз считал целью и смыслом своего существования, извращена до противоположного своей изначальной сути, теперь она означает «жизнь на широкую ногу», «на зависть всем». В нашем народе утеряно чувство единства, то, что нас всегда спасало. В разных устах «наша Апсны» означает разное: в одних – она по-прежнему Родина, которая требует бережного и любовного отношения к себе, в других – место, где можно хорошо нажиться, она интересна только тем, сколько древесины можно заготовить в ее лесах, сколько табака можно вырастить на ее полях, сколько отдыхающих можно разместить в ее пансионатах... Цели сами по себе, может быть, не порочные, если они направлены на использование, разумное, взвешенное, богатств страны для блага народа, государства. Но, к сожалению, мы видим рвение в деле собственного обогащения, на грани хищничества отношение к Апсны.

В современном мире оставаться собой стало чрезвычайно трудно. На нас идет огромный вал унификации и обезличивания. Но самая большая опасность для нас таится в обожествлении денег и успеха. Абхазское общество, разумеется, не могло избежать имущественного расслоения внутри себя, разделения на «богатых» и «бедных». Но это расслоение всегда было умеренным и радикально не сказывалось на чувстве единства народа. Да и Апсуара сглаживала возможный антагонизм различных социальных слоев. Повторюсь, богатство и общественное положение сами по себе не служили мерилom достоинства того или иного человека. Абхазское застолье, при его разветвленной смысловой ритуальности, идейной загруженности, дает нам ответ на вопрос об абхазской иерархии ценностей. Первый тост звучит так: «Да благословит нас Бог!», второй: «Да здравствует народ!» Первый подтверждает глубокую религиозность нашего народа, чему мы, выросшие в атеистическом государстве, удивлялись, общаясь с нашими стариками. Второй – о том, что высшей ценностью после Бога для абхаза был народ. Народ останется народом,

если каждый его представитель не будет забывать о своей обязанности перед остальными, о своем долге беречь его единство. Если каждый начнет тянуть одеяло на себя, народ превратится в толпу, то есть в нечто хаотическое, аморфное, непривлекательное и, по всей видимости, обреченное. (Речь о малочисленном народе, как наш. В миллионных народах работают другие законы. Мы же должны жить по законам общины: умеренно, сдержанно, в строгом отношении к себе и в самозабвенном служении другим, общему делу. В этом и суть Апсуара, ее и надо пытаться сохранить в первую очередь.)

Говоря об отношении абхаза к труду, я вовсе не призываю к умеренности и здесь. Наоборот, в новых условиях от нас требуется больше усилий, большее напряжение физических, умственных, духовных сил. Но это усилие, это напряжение должны иметь целью обустройство страны, а не благополучие только свое или отдельных людей. Абхаз презирал именно такой труд – целиком направленный на собственную потребу.

Апсны, с ее благодатной землей, и Апсуара, с ее красотой и гуманностью, дают нам возможность сделать нашу жизнь не погрязшей в будничном, в заботе лишь о хлебе насущном. Такая жизнь высвободит творческую энергию народа, а народ наш необыкновенно талантлив, у него есть что сказать миру. Об этом мечталось, мечтается до сих пор.

К сожалению, Абхазская мечта столкнулась с тяжелой реальностью. Апсуара переживает кризис, а государство еще не состоялось, потому что одни институты и атрибуты не создают его, нужны программы, планы, цели.

Вспомним еще раз мудрые слова Шхангери Бжания: «Абхаз жив, пока у него есть Апсуара!» Кто-то может скептически заметить, что то было патриархальное общество, что сегодня следовать «заветам отцов» – архаизм, да оно и невозможно. Иначе как уходом от задач, стоящих перед нами, это не назовешь. Всегда актуально быть нравственным и быть собой.

1999

(Бюллетень фонда «Гражданская инициатива и человек будущего» «Перспективы», 1999 год.)

МЫ И ВЛАСТЬ

Среди задач, решаемых нашим обществом, отношение к власти, необходимость определиться, что мы понимаем под властью, чего хотим от нее, становится всё насущней. Мы все чувствуем, что дела у нас идут не так, как им положено идти; во всяком случае, надежды, которыми мы жили в первые послевоенные годы, обидно и как-то неожиданно не исполнились, мы переживаем целый ряд разочарований. В поисках причин неурядиц большинство из нас указывает на неумелость власти, а то и на ее злокозненность. Виновата ли власть в такой степени, как ей приписывают «недовольные», или же не меньше виновато и наше общество, мы все, – этот важный вопрос встал перед нами во весь рост, и мы должны предельно честно ответить на него.

Собственно говоря, мы не знаем, что такое власть. При всем как бы несомненном прошлом опыте – как нам не знать, что такое власть? мы ведь столько лет жили под ее пятой! – вопрос этот действительно нов для нас. И вот почему.

Мы раньше сталкивались с властью, можно сказать, не напрямую, ее сущность была нам явлена во многом опосредованно, через «амортизирующие» иерархические ступени: Москва – Тбилиси – Сухуми... До нижней ступени, на которой мы, абхазы, находились, она доходила не в «голом» виде, а в несколько терпимом облачении, тем более при имевшей место щадящей национальной

политике. Власть была к нам повернута, так сказать, одним «чужеземным» ликом. Она ассоциировалась прежде всего с Москвой или Тбилиси, то есть с чем-то далеким, «неродным», оттого неизбежно враждебным. Потому легко срабатывали психологические механизмы если не полного примирения, то хотя бы более или менее сносного сосуществования с нею. Те же механизмы брали под защиту «своих» во власти, зная, что они мало что решают: да, на коне, но вожжи-то в чужих руках! Мы многое прощали «своим» и были уверены, что если поставить их у руля, упразднив их зависимость от вышестоящей власти, прежде всего тбилисской, то дела пойдут не в пример лучше. Мы так понимали: мы будем свободны тогда, когда нами целиком будут править «наши». Но это означало только отсутствие внешней зависимости, как-то не предполагалось, что власть «наших» – лишь необходимое, но недостаточное условие свободы. Но всё по порядку.

Вертикальная структура советской власти, при всей ее громоздкости, неуклюжести, несла и положительное. Был некоторый контроль, был сдерживающий фактор, не позволявший местным князькам разгуляться. Злоупотреблять своими полномочиями на широкую ногу, при всех их неудовлетворенных аппетитах, они не решались из-за страха перед верхами, а верхи приструнить не в меру зарвавшихся, «надавать тумачков» умели, и делали это охотно. Не из благих, как правило, намерений, а чтобы оградить себя, «не запачкаться».

С развалом СССР естественно разрушилась и вся система власти, от единого некогда организма отделились самостоятельные части, и в большинстве этих осколков возник неудержимый, бессовестный разгул бывших партийных боссов, наконец-то дорвавшихся до заветной, никем и ничем не контролируемого могущества. Во многих постсоветских государствах установились уродливые режимы, чуть ли не феодальные формы правления. Давно уже не новость – пожизненные президентства, разумеется, при

поголовном «одобрямс!» народа, на подходе и передача власти по наследству. И всё это «с искренним желанием строить демократическое общество»!

Сказать, что подобные вещи нам не грозят, было бы преждевременно. И здесь дурную службу нам может сослужить характер отношения к власти, выработанный годами, а то и веками чужеземного правления. Мы из всего этого вынесли ничем не оправданную веру, что власть «своих» – самое надежное средство свободы и достойного существования, что одного факта – независимости страны и полновластия «наших» – достаточно, чтобы мы зажили счастливо.

Наш прошлый горький опыт сыграл с нами и другую шутку. Все силы нашего малочисленного народа на протяжении ряда веков уходили на то, чтобы просто выжить, не быть перемолотым беспощадными жерновами соперничавших держав. Конечно, такое многолетнее напряжение физических и духовных сил не могло не утомить, не обессилить. (Здесь лежат, в некотором роде, и корни пресловутой нашей «лени». Абхаз просто берег силы для важных дел, он не мог растрачивать себя на мелкое, «бытовое». Что потом отчасти укоренилось в нашем характере, но это уже другая история.) И когда мы фактически стали независимыми и, соответственно, у власти оказались «наши», без надзора вышестоящей власти, народ наш как бы облегченно вздохнул и переложил свое бремя на них, перепоручив власти то, чем он до того занимался: судьбу страны. Из простого и, как оказалось, не совсем верного соображения: пусть власть занимается своим делом, а я буду заниматься своим.

В первые послевоенные годы власть и ее главный отправитель – президент справедливо считались той силой, которая неимоверным напряжением, отчаянным мужеством, жертвенным служением народу и стране принесла победу, а с нею и независимость. Со временем это отношение к власти стало корректироваться не всегда понятным с точки зрения заботы о стране и народе

поведением власти. Мягко говоря, власть перестала оправдывать наши надежды.

Не снимая с нее вины за растущее в нашем обществе недовольство ею, надо сказать, что и общество отчасти виновато в этом, самоустранившись от решения главных задач, возложив львиную долю ответственности за судьбу страны на власть. Наше такое поведение вызвано, как уже говорилось выше, нашим тяжелым прошлым, постоянной борьбой за выживание. Борьба эта развила в нас какие-то качества в ущерб другим. Не имея опыта жизни под властью «своих», мы выработали однобокое представление о власти вообще и о какой-то особенной положительности власти «своих».

Надо признать, что это некоторым образом детскость, инфантилизм. Отношение нашего народа к власти ревнивое, даже любовное. Велико тяготение к ней, вера в нее. Власть в народном сознании совпадает с тем лучшим, что есть в нас. Но всё это до поры до времени. Заметив за властью даже незначительные отклонения от во многом придуманного идеала, какие-то вполне допустимые двусмысленности в ее поведении, наше общество из-за своего инфантилизма может тут же обернуть свои симпатии в совсем противоположное.

Власти необходимо учитывать эту особенность нашего отношения, не подражать близким и дальним соседям, не пытаться пересадить заведомо негодные методы и приемы чужедальних правителей. Власть до сих пор вела себя как власть вообще и обращалась с нашим народом как с народом вообще, исходя из каких-то общих, среднестатистических подходов, верных вообще, но неприложимых к конкретному случаю.

А обществу нашему пора взрослеть и не относиться к власти с излишним пиететом. Нам надо учиться воспринимать власть свободно, без шор и наивных надежд. Сумев это, наше общество найдет более действенные рычаги влияния на власть, и власть тогда вынуждена будет прислушаться к голосу

«недовольных» и не видеть в них одно лишь покушение на себя, как сегодня происходит.

2000

(«Глас народа», издание общественно-политического движения «Возрождение», специальный выпуск, 2000 год.)

СМЕРТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Эсхатологические заметки

Кризис, который переживает Апсны, может быть объяснен по-разному. Но среди всех объяснений, более или менее верных, есть, мне кажется, одно, по печальному праву претендующее быть главным. Это – болезнь, которой болеет наше общество уже давно, а последнее же десятилетие прошло явно под ее знаком. Суть ее – наше подсознательное тяготение к смерти, ко всему, что связано с гибелью, разрушением.

Мы народ, больше ориентированный на смерть, чем на жизнь. У нас культ смерти, мертвых необычайно силен. Мы хороним своих покойников в собственных дворах или же в такой близости, чтобы могилы постоянно были перед глазами. Это о чем-то да говорит. (Речь идет о крайних и неприемлемых формах, которые приняло сегодня традиционное почитание нашим народом смерти и мертвых, о том пределе самоотрицания, до которого это почитание

дошло. Поэтому апелляция к «заветам отцов» в данном случае, думаю я, несостоятельна.)

Ритуал проводов покойника, проработанный до мельчайших подробностей, предназначен служить в первую очередь живым. Это – действие для живых; и смерть больше повод, чем цель этого действия. В этом ритуале личное как бы отмечено, всё подчинено внеличному, надличному.

Абхазы говорят: «А7ъуашья ззымдыруз – ихы 8иэит» («Не умеющий плакать – разбил себе голову»). То есть – как и во всяком ритуале – тут необходимо умение, следование каким-то образцам. А неумеха разбил себе голову, потому что не знал этих образцов и внес в ритуал свое, личное, в данном случае – излишнее рвение. Это важно: именно рвение, перегиб, неуместная инициатива. Он мог поступить так, искренне выражая горе. Но и это не оправдывало его, иначе в поговорке проскользнули бы какие-то снисходительные нотки. Он нарушил обряд, где выставление горя напоказ недопустимо. Но и само горе тоже как бы не совсем оправданно: что толку убиваться по тому, что изменить невозможно. Потому бурному проявлению горя чаще или не верят – как лицемерию, или же относят на счет неумения и придурковатости. Умение – это не столько придирчивое соблюдение внешних формальностей, сколько внутренняя установка. Умение, если хотите, – это когда человек осознает высокий смысл смерти и свое бессилие перед ней. (Разумеется, не все, безукоризненно исполнявшие принятый ритуал, способны были духовно постигать смерть. Но строгий ритуал приобщал всех присутствовавших к чему-то значительному и высокому и своими жесткими рамками не позволял никому опошлить смерть.)

Человек смиренно принимает смерть и не тщится проникнуть в ее тайну. Отсюда и соответствующее поведение. Это поведение человека, давно знакомого со смертью, размышляющего о ней и знающего ей цену. Мы же, современные абхазы, ведем себя так, будто смерть близких и вообще смерть – досадная

случайность, непостижимая ошибка, подвох, уготованный судьбой лично нам. Это отчасти и гордыня: мы считаем, что происшедшее с нами – нечто особенное, из ряда вон выходящее, «мы этого не заслужили». Мы годами носим траур по умершим, скорбим, зачастую выставляем свое горе напоказ, чуть ли не навязываем его окружающим (опять же – черное, бороды, фотографии, приколотые к груди...).

Всё это говорит о том, как мы далеки от каких-либо зачатков религиозности. Когда внутреннее стало оскудевать, когда в нас «Бог умер», внешнее – наше поведение – постепенно изменилось, и в худшую сторону. Не умея принимать смерть с достоинством, мы театрализовали ее, превратили в зрелище не самой высокой пробы. Мы опошлили смерть. И всё это – якобы соблюдая традиции и из уважения к усопшему. Но на самом деле здесь скорее неуважение – и не только к покойному, но и к живым. Мы так бережем память об умерших, что зачастую забываем о живых. Нам нравится само зрелище смерти, и мы обставляем ее по возможности пышно, чтобы она выглядела привлекательней, чем есть на самом деле. Наши обильные возлияния на панихидах и похоронах, против которых пытаемся воевать, призывая к умеренности, стыдливости, приличию, – обратная сторона той же медали, желание заглушить в себе слишком сильный голос смерти, своего рода противоядие.

Наш дух двоится: мы влечемся к смерти, всё, что связано с нею, мило нам, мы втайне ждем повсеместной гибели и разрушения, «конца света» (идефикс «маленького человека», равно «маленького народа», униженного, умаленного, гонимого), в то же время мы пытаемся вырваться из тенет смерти, понимая, что это путь в никуда. Типичное раздвоение, или, как говорят психологи, амбивалентность чувств.

В этом нет ничего необычного. Давно сказано о двух главных составляющих человеческой природы – инстинкте жизни (Эрос) и инстинкте смерти (Танатос). Некоторые мыслители, например французский философ

Андре Лаланд, считают, что всё живое подспудно стремится к смерти. Как бы ни было, главное – что возьмет верх. В борьбе нашего духа со смертью, похоже, смерть пока побеждает.

Сдержанность, «равнодушие», которые проявляли раньше абхазы в отношении смерти, объясняется тем, что в миропонимании абхаза смерть сама по себе мало что значила. Вернее, так много значила, что он предпочитал «молчать». Он не вторгался в запретную область. А излишняя скорбь и вообще неумеренное горе были таким вторжением, своеобразной суетностью ума и сердца, когда вопрошают о том, что человеку не дано знать. Ведь скорбь – это прежде всего вопрошание: «Почему?», «Зачем?» (Но еще вопрос, вправду ли мы скорбим, не показуха ли всё это. Способны ли мы на скорбь, когда так измельчал наш дух в постижении жизни и смерти? Чаще, мне кажется, мы только изображаем скорбь – из каких-то мелких и постыдных соображений, из «выгоды». Наша «скорбь» есть скорее оскорбление смерти, чем глубокое духовное потрясение. В сравнении с мужеством и стоицизмом абхаза прошлых времен – насколько мы ниже!) Смерть – неизбежный, оттого «не очень интересный» переход в мир иной, перемена мира, если перевести дословно абхазское выражение «идуinei и8сахит», которым обозначают смерть человека. При этом весь трагизм смертности человека абхаз ощущал глубоко, но смирялся с предустановлением всемогущего Бога («Щаища зымчу»⁹, осознавая, что всё рожденное обречено на смерть: «Аира зшаз а8срагы ишеит» («Создавший жизнь – создал и смерть»), «Мышкы ииуа мышкы ды8суеит» («Рожденный когда-то – умрет когда-то»). Важнее было то, как умирал человек, какую славу он нажил при жизни, что еще раз говорит об обращенности в прошлом абхаза к жизни, к слову и суду живых.

Но для нас сегодня не важно, как умер человек, мы с одинаковыми почестями проводим в последний путь и достойного, и недостойного. Примеров нашего коллективного лицемерия много, говорить о них просто стыд берет. Но

тут не только в лицемерии, в предрассудках дело. Нам важен сам факт смерти, он перекрывает всё. Смерть выступает как отдельная самоценная сущность, вне связи с жизнью, с бытием.

Мудрое и мужественное отношение к смерти, вытекавшее из глубокой религиозности нашего народа, сегодня искажено до неузнаваемости. После недавней войны культ смерти и мертвых принял особенный размах. Во многом это наследие войны, но оно усилено нашим некрофильством вообще. Война наша отличалась от многих других войн тем, что мы сражались на малом пространстве и наши бойцы гибли не где-то за тридевять земель от родного дома, а рядом, в непосредственной близости, часто на глазах у родных. Смерть стояла у порога почти каждой семьи. Это до крайности драматизировало ситуацию и легло тяжким грузом на плечи народа. Можно без преувеличения сказать, что весь народ был вовлечен в войну и испытал на себе ее ужасы. Шок от этого до сих пор не изжит, он всё еще подтачивает нас изнутри. Мы не оправились от потерь, от страха и боли, мы всё еще в плену у смерти.

Страх исчезнуть как народ, который мы, видимо, и раньше испытывали и с которым умели как-то справляться, теперь же, когда мы воочию убедились в разрушительной мощи современного оружия (хотя на нашей войне применялось не самое мощное и не самое современное), при беспрецедентной лживости и безнравственности политиков, когда мировое сообщество исповедует двойную мораль, – страх этот засел в нас еще глубже. Когда пала империя, мы вдруг почувствовали себя голыми и незащищенными, мы оказались с миром лицом к лицу. Нет теперь уже «высшей инстанции», куда мы могли бы обращаться за справедливостью. Внутри жесткого и, как нам казалось, непробиваемого панциря империи нам мало что грозило, кроме тихого и неизбежного растворения в большем народе. А это процесс долгий и незаметный, он не мог до такой степени актуализировать извечный для малочисленных народов вопрос «быть или не быть», как это сделали распад империи и грянувшая следом война.

Империя, обеспечив нам более или менее безопасное существование, в то же время притупила нашу настороженность к миру, наше всегдашнее состояние – быть начеку. Потому война и ее последствия для нас так «неожиданны», неподъемны. Следствием всего этого является страх, что нам трудно будет выжить в этом мире, оставаясь собой. (Не быть собой – то же самое, что быть никем; а это значит – не быть вообще.)

Но всякий страх по своей природе разрушителен. Страх – это то, что не несет в себе ничего положительного. (Говорят, была еще одна заповедь – одиннадцатая: «Не бойся!», которая впоследствии почему-то выпала; люди предпочли забыть ее.) Тем более страх смерти. Постоянные мысли о ней приводят к тому, что смерть опутывает сознание и человека, и народа, подавив в них волю к жизни. (Наверно, наше «бытовое» отношение к смерти есть в чем-то и результат глобальных страхов нашего народа.)

Но вот кончилась война, впору заняться созидательным трудом. Вместо этого, будто разрушительный пыл не весь был израсходован в войну и теперь обратился против нас, мы еще долгое время продолжали воевать (да и сейчас воюем), но уже против самих себя. Притом, может быть, с большим ожесточением и ненавистью, чем против врага. Сколько было совершено убийств, сколько людей, а иногда и целые фамилии, стали заклятыми врагами, сколько погибло в автокатастрофах, сколько покончило с собой! Мы знаем случаи, когда родные убивают друг друга: отец – сына и сын – отца или мать, брат – брата или сестру, муж – жену или жена – мужа... Совершено столько злодеяний, что под вопросом нравственная состоятельность нашего народа. Если к этому страшному списку добавить пьянство и наркоманию, также разрушающие личность и также распространенные у нас, то картина перед нами предстанет жуткая, апокалиптическая. Такое ощущение, что мы все заражены бациллой смерти.

Ориентированность нашего духа на смерть выражается и в том, что мы постоянно заняты прошлым. Мы как бы живем с взглядом, обращенным вспять. Мы ищем в прошлом опору, ищем силу, чтобы справиться с настоящим и, может быть, с будущим. Прошлое для нас не нечто ушедшее, исчезнувшее, которое можно бы и забыть, а всегда присутствующее рядом, всегда актуальное. Мы – жертва истории в двояком смысле. Во-первых, она поставила нас на грань исчезновения через войны и насильственные переселения нашего народа в другие страны. Во-вторых, горькая, трагическая память об этом подтачивает нашу волю к жизни. Можно сказать, что прошлое для нас – непосильный груз. Мы не способны его победить, но и освободиться от него у нас тоже не получается. Мы всё еще как бы живем в прошлом. В этом прошлом мы действительно существуем. В настоящем мы вроде существуем – и вроде нас нет. Еще проблематичнее будущее, оно покрыто мраком. Иногда возникает такое ощущение, будто мы сами не очень-то верим, что в будущем можно будет отыскать нас. Наш переход из прошлого в настоящее, тем более в будущее, затянулся.

Война стала тем событием, которое еще крепче привязало нас к прошлому. Она обновила опасность, всегда висевшую над нами, наш дух оказался надломленным как никогда, и мы всё не можем распрямить плечи и встать во весь рост. Во всем нам видится угроза, недоброжелательность. И всё это направлено в самое сердце нашего существования как народа. Мы с опаской глядим на мир, ждем от него подвоха, предательства, пытаемся предвидеть и нейтрализовать многочисленные козни, которые он нам строит. Мы не доверяем миру, пространство вокруг нас враждебно нам. А чтобы выжить, нам надо избыть свой вечный страх перед миром. Я не призываю к полному забвению прошлого, к его «отмене». Но оно не должно занимать так много места в наших мыслях, иметь такую власть над нами. Из прошлого надо извлекать только уроки, это общепризнанная истина. А помнить постоянно ту боль и страдания,

которые оно принесло нашему народу, – это ничего нам не даст, кроме опять боли и страдания.

В нас уже нет той воли к жизни, которой отличались наши предки. Если мы как бы стихийно, инстинктивно выбираем смерть, что находит отражение в нашем умонастроении и поведении, то теперь мы должны осознанно выбрать жизнь. Мы должны повернуться лицом к жизни. А для этого надо победить в себе страх смерти. Бояться смерти – это то же, что бояться жизни. А мы боимся жизни, ибо не живем настоящим, а все заняты прошлым. Мы боимся исчезнуть как народ, потому не доверяем миру. Этому отчасти есть оправдание: мир нес – в чем мы имели возможность убедиться за свою долгую историю – и несет нам угрозу. Но и не став частью мира, а замкнувшись в себе, отгородившись, мы не выживем. А стать частью мира возможно только в том случае, если мы изживем в себе свои предрассудки, пересмотрим и обновим свои ценности, победим свои страхи.

Мне думается, развитие личности, личностного начала – единственный путь для раскрепощения нашего духа и усиления воли к жизни. Мы долго и оправданно отдавали приоритет надличному единству – народу. Это отчасти вело к затушевыванию, нивелированию личности, к ее несвободе. Победив в войне и защитив свой народ от гибели, мы в то же время демонстрируем, насколько нам безразличен отдельный человек, его судьба. Мы не ценим человека, но озабочены выживанием народа: когда под угрозой народ, об отдельном человеке вроде можно и забыть. Но это не так. Все призывы к единству путем ограничения свободы человека, подавления его личности на руку смерти, так грозно нависшей над всеми нами.

Жизнь – это свобода.

2001

(Журнал «Колокол», № 1, 2001 год.)

II

ЗАВТРА...

СЛОВО ОБ АЛЕКСЕЕ ГОГУА

Алексею Гогуа исполнилось 65. Даже в литературной среде это событие прошло незамеченным. Осмысливая этот факт, я не могу оценить его однозначно.

Оправданий сыскать можно много: тяжелое время, дата не столь круглая... Но, думается, причина в другом – в оскудении культурной жизни в нашей стране. И оно связано не только с трудным положением внутри и вокруг АПСНЫ, послевоенным лихолетьем. Оно – прямое следствие нашего недавнего прошлого. А там основы духовности были зыбки, шатки, культура нами ассоциировалась с шумной помпезностью обязательных, как оброк, юбилеев, «дней культуры», «творческих вечеров». Безупречный канцелярит речей на них на следующий день размножался газетами, телевидением, радио. Пресловутая забота властей о «культурном воспитании масс» до невозможной примитивности облегчала усвоение духовных ценностей: ценно лишь то, что признано официальной пропагандой. И мы, приученные без движения, натуги собственной мысли «усваивать культуру», могли назвать имена писателей, художников, композиторов, не имея представления об их творчестве.

Но наступило другое время, и мы неожиданно ясно увидели, какие мы есть. В нашем образовании, культурном самосознании появились черные дыры: сошла шелуха всего принудительного, ложного – и обнажились изъяны, вывихи, хромота прежней культуры. И как результат – настоящая литература заняла приличествующее ей скромное место в бытовой жизни. Но духовность всегда и была за кулисами, это тоталитарные власти упорно пытались выставить ее на всеобщее обозрение – то ли чтобы скомпрометировать ее, то ли чтобы убедить себя в ее существовании. А на деле потчевали народ ее суррогатом.

Поэтому прошедшее незаметно и одиноко 65-летие Гогуа – позитивный знак переживаемого нами времени. Если культурная жизнь и оскудела сравнительно с прошлым – имеется в виду пышный фасад прежней культуры, то духовность просто отгородилась от суеты, да и время тоже спасительно отгородило. Юбилеи, даты, шумиха – всё это ненавистно ей, и, можно сказать, Гогуа на этот раз счастливо избег официальной пошлятины, неискренних похвал от лиц, не читавших ни одной строки писателя, и всего лицемерия и вымученности, которыми отличались наши прошлые чествования. Ведь мы по привычке продолжаем одевать важные события нашей жизни в обноски, в старье, поэтому не верится, что в данном случае было бы иначе.

Но в подобном чествовании была бы одна несомненная правда – это слова записных ораторов о «большом таланте и всенародном признании». Есть большой талант, есть и всенародное признание. Здесь надо оговориться. Признание не в том смысле, в котором его понимают понаслышке образованные люди. Здесь речь не о массовости, не о популярности. Гогуа народен настолько, насколько вообще возможно быть народным, это залог того, что в будущем он будет прочитан и понят, а он не прочитан и не понят до сих пор.

В каждой строке Гогуа бьется сердце абхаза и сердце Апсны, каждая его строка пронизана огромной болью за них и надеждой. Во многом избыточная, избыточная его проза, строго не укладывающаяся в каноны реалистического

письма, бегущая сухости и скучной завершенности, – от щедрот души абхаза и его Апсны. Реальности, которые мы привычно именуем «абхазы» и «Апсны», воплотились в слово, в книгу во многом благодаря Гогуа. Главные архетипы духовной сущности абхаза, которые он пронес через века своей трудной истории, ждали своего часа, ждали Мастера, и он пришел. Пришел, чтобы дать им новую жизнь посредством слова. Творчество других выдающихся абхазских поэтов и писателей было по преимуществу орнаментальным. Внешние проявления абхазского духа привлекали их больше, и некоторым удалось создать легкие, благозвучные его абрисы. Но только Гогуа достало дара и мужества посмотреть вглубь, и мы теперь имеем бесценные образцы того, что вычерпал он из глубин народного духа. Дух этот многие годы блуждал по чужим пределам, был разлучен с собой, и теперь, когда он возвращается к себе, сникший от тяжести потерь и всё же по-прежнему гордый, мы еще раз убеждаемся, что он всё это время оставался в книгах Гогуа, что «он был так близок, а мы его не замечали».

Находясь всегда в духовной оппозиции к существующей власти, Гогуа не допустил в своем творчестве никакого заигрывания с системой, угождения ей. Правде жизни и ее неоднозначной, непрямолинейной связи с художественной правдой – вот чему он служил и служит по сей день. Он написал один из самых правдивых и сильных романов о тоталитарном режиме – «Нимб», показав обожествление одной личности, ее культ как результат не только злой воли самой личности, но и коллективного мифотворчества. Его удалось издать на абхазском, что объясняется окраинным положением Апсны в огромной империи, когда «бдительное око» просто не дошло, проморгало. До сих пор он не переведен на другие языки и остается неизвестным иноязычным читателям.

Вообще, это характерно для творчества Гогуа. К сожалению, ценителей высокой литературы среди читающих на абхазском не так уж много, а перевод, даже самый совершенный, не может передать всю пластическую мощь и

философичность его прозы. В живописи, в создании объемного, чувственного мира он недостижим, но и в передаче тончайших душевных движений, неуловимых подсознательных порывов он не уступает лучшим мастерам психологической прозы. И философичность – не как набор готовых идей и их иллюстрации, а как мироощущение абхаза, которое возможно передать только через его язык. В этом мироощущении вопросы жизни и смерти занимают главное место, что ненавязчиво, подспудно, подводным течением присутствует в текстах Гоголя. На первый взгляд создается впечатление, что он занят лишь посясторонним, ибо так телесен рисуемый им мир. Но это скорее художественный прием – для сохранения некоего образного равновесия, отсюда подспудность, подводность. При пристальном же вчитывании экзистенциальное становится зримее, выпуклее. При повторном чтении, как при копании, достигаешь нового пласта, новой глубины. Проза Гоголя многослойна, и сюжет – лишь первый, низший уровень ее. Прорыв в трансцендентное, в четвертое измерение – ее цель; в лучших своих книгах ему это удалось, что делает его писателем мирового масштаба.

Поэтому можно сказать, что Гоголь пишет о человеке, только с абхазским акцентом, с абхазскими координатами. Не затмив, не затушевав особенности абхаза, он сопряг его жизнь с жизнью всего человечества, сделав его полноправным соучастником мировых интеллектуальных и духовных процессов. Он первым вывел нашу словесность за рамки национальной литературы, придав нашему язычески свежему слову полноту и многозвучие истинно литературного языка, по своим выразительным средствам не уступающего самым развитым мировым языкам. Физическое бытие абхаза обрело новое качество – духовное: он заговорил о мире на своем языке и тем стал причастен миру. Это ни в коей мере не умаляет труд предшественников Гоголя. Они подготовили то, что потом так ярко и так неизбежно обрело жизнь под его пером.

Гогуа является предтечей нашей добытой в войне независимости. Он гораздо раньше своим творчеством показал пример духовной свободы, разговора на равных со всем остальным миром. Если наша победа сделала Апсны явной политической единицей, то книги Гогуа сделали ее духовной единицей за годы до этого. Честь и достоинство, которые являет он своей жизнью и своими книгами, служат для всех нас непреходящим примером и уроком.

Юбилеи нужны как вехи культуры и средства общения. Но никакие юбилеи не дадут нам полного знания о масштабах личности Гогуа. Созданное им еще долгие годы будет осмысливаться нами, еще долгие годы мы будем подбираться к заветным, главным словам, которые он нам сказал и продолжает говорить, а мы, занятые собой, суетливые, не слышим их. А выйти из своего угла под облагораживающие лучи солнца, на свежий терпкий воздух так легко, так возможно! Читайте Гогуа, его светоносную, живому человеку сострадающую прозу.

Пожелаем хранителю языка Алексею Гогуа здоровья и еще долгих лет писательства.

1997

(Газета «Эхо Абхазии», № 20 (110), 6 августа 1997 года.)

ОСТАВЛЯТЬ ВРАТА ВХОДЯЩИМ...

Может, не так далеко от истины утверждение, что конец века отмечен для нас, абхазов, переоценкой ценностей, мучительным поиском новых путей. На каком-то подсознательном полумистическом уровне сам хронологический

рубеж воспринимается как завершение одного и начало другого, неизведанного, как вызов истории и, соответственно, новых требований к личности, новых усилий от нее.

В судьбе нашего народа конец века и впрямь оказался трагически переломным. Если в свое время Большой снег (Асду) обозначил некий предел в самосознании абхазов стихийным испытанием такой небывалой силы, что потом ни одно событие щедрого на жесточайшие испытания века-волкодава не смогло затмить его, то война на исходе столетия осознается как еще один значительный водораздел в жизни Абхазии.

Всё это имеет прямое отношение к теме разговора – первому сборнику стихов Абесалома Лепсаи «Долина Тофета» («Алашара», Сухум, 1997 г.). Каким бы интенсивным ни было творчество молодого автора до 14 августа 1992 года, мне думается, нынешним выплеском поэтической энергии Лепсаи во многом «обязан» минувшей войне. Если быть точнее – войне и ее кануну; единственное довоенное стихотворение, вошедшее в книгу, насквозь пронизано предчувствием грядущей беды. Название его, «Эльсинор», – аллюзия, отсылающая нас в «Датское королевство, где не всё ладно». С него, можно сказать, начинается отсчет; остальные стихи – о том, что, выражаясь общо, «стало с родиной и с нами».

Но война ни разу не упомянута, она за кулисами. Между «Эльсинором» и сегодняшним днем образовался провал, пролегла бездна. Война не названа, поэт как будто хочет избыть ее. Но это ему не удастся, на всем сегодняшнем еще лежит ее мрачный облик, нынешний недуг – ее следствие. В неброских, не отягощенных сложной образностью, порой до сухости лаконичных стихах Лепсаи недуг этот обозначен-схвачен. Но прежде чем назвать его, проследим путь, который проходит поэт.

Война подвинула к пересмотру ценностей, которые раньше, быть может, принимались на веру как сами собой разумеющиеся. К таким ценностям,

безусловным, но увиденным вдруг в новом свете, принадлежит родина. Поэт одержим поисками родины. Вроде парадокс: что ее искать, ведь она и так есть у него, он не изгнан с нее и она никуда не исчезла. Но дело в том, что родина уже не та, он ее не узнает. В пронзительном (что вообще не характерно для Лепсаи – открытость чувств, душа нараспашку; боль жизни дана им подспудно, подводно, «неискренно», так называемая искренность в стихах – чаще безвкусица и пошлость, «подкупающие своей искренностью стихи» – обычно плохонькие стихи, порожденные ложным посылом, что цель поэта – «самовыражение») стихотворении «Абхазия» родина увиденна в таком зеркальном отражении, когда все + словно поменялись на – и она своим бытием в настоящем низвергнута с известной образцовой высоты прошлого. И поэт хочет согласовать в своем сердце прежнее представление о родине с новым знанием о ней. А это есть поиск, поиск подлинного, сущностного в отчизне, которая, как хочется желать, достигала бы высоты прежних представлений.

Но поиски тщетны; родина – самообман, мечта о ней неосуществима, несбыточна: «Абхазия, ты издревле сдружилась с химерой». «Издревле» – это и в «издревле» души поэта, и в «издревле» историческом. Ибо и прошлое с его заветами для поэта не несет уже в себе той живительной силы, которая всегда питала нарождавшиеся поколения. В прошлом – «ветхие отцы» со своими «зыбкими уверениями»; они не убеждают, «не избавляют от сомнений». «Отцы» завещали только свою смерть: «Я наследник их смерти»; умерев когда-то физически, они умирают теперь и в кризисном сознании поэта. Молельное дерево, – своеобразный символ высокого и вечного, – и то, «не слыша молитв, утратило / святость и раскинулось ядоносным анчаром».

Поэт выбирает одиночество, не сопрягая свою жизнь с жизнью родины, рода. Войти уверенно и безболезненно в поток, именуемый историей, ему не удастся. Не только из чувства независимости и самоценности «я». Индивидуализм поэта имеет и другие причины. Во внешнем мире – а к

таковому принадлежит, помимо всего прочего, и то, что непосредственно не пережито им, не осознано, а дано как выжимка из опыта других, оттого сомнительно и чуждо, – он не находит твердых, надежных опор и вынужден в себе искать эти опоры.

Физическая родина не дала полноты духовного самоосуществления; поэт как бы внутренне эмигрирует в поисках более прочных, более незыблемых, чем родина, истин, раз физическая и духовная родины обречены не совпадать.

Он дает мрачные картины действительности: «мутные тучи», «пустота», «горькие истоки», «черные вдовы», «скелет истерзанного полиса», «раненое небо»... Они переплетены с такими «вечными состояниями», как тоска, одиночество, безысходность, отчаяние... Сказать, что одна лишь реальность повинна в этом, нельзя: реальность еще раз подтвердила то, на что человек изначально обречен. Стихотворение «Мир избавлен от оков...» тому доказательство. В нем выступает безотносительное к сиюминутному, родовое – бессмысленный круговорот жизни. И до этого нам внушалось: от судьбы не уйти («Античный мотив»), но судьба – это повторение того, что уже было: «Самое точное время показывают часы, которые стоят». Но в последнем стихотворении эта тема получает завершение: «новая возможность» – это всего-навсего новый круг той же жизни: «Ах ты, Боже мой, опять / Наступает кавардак». И «не постичь» смысла всего этого.

Поэт не примеряет одежды «мировой скорби» к локальной жизненной ситуации. Точкой опоры для появления неслучайного поэтического сборника с неслучайным умонастроением стала именно сегодняшняя Абхазия. Сама реальность оделась в эти одежды; вернее будет сказать – самообнажилась, саморазоблачилась: с реальности снят покров из неубедительных, зачастую малодушных утешений, как то – родина, заветы отцов, любовь... Надежда, лишь раз мелькнувшая, и та оказывается «последней», потом ее изгоняют за ненужностью, просочиться в будущее таким же обманом, каким она была в

настоящем, ей не удастся. (Деление на прошлое, настоящее и будущее в этом контексте условно. Поэт движется от чего-то к чему-то, представить это движение в категориях времени будет нагляднее. Тем более что простое физическое время тоже важно для идеи книги.) Надежда как бы «слишком человеческое» понятие, из нее ничего не извлечь, об нее только спотыкаешься. И поэт в «знобящих пределах», когда «твой голос... не способен достичь / рядом идущего, как если бы кричали ему / из запредельной бездны», в «мире», где «много... движения» и «мало ожидания», «много контактов» и «мало встреч», «один... под небосводом» ищет «пристанище», ищет «прародину».

Поначалу даже искусство, этот традиционный конечный пункт многих духовных исканий, бессильно: «заговор слов не умчит / вдаль от насущных забот». «Насущные» – это те, что требуют разрешения на личностном уровне, работой собственной души (оттого: «Душа – это трудная ноша»). Здесь «заговор слов» – «книга» – искусство, то есть чужой опыт, чужое духовное усилие не подмога. Искусство, выступая в данном случае как объект простого потребления, не помогает. Поэтому уже в другом стихотворении, «Сочится дождь из раненого неба...», в творчестве поэт находит исход своим поискам: «В новом свете он слышит – / – нет, это не смерть. Это творчество. / Начинается там, где кончается жизнь». Творчество соотносится, как синоним, с другой реальностью. Фразу «кончается жизнь», разумеется, не следует понимать буквально (хотя, на мой взгляд, тут нужна большая точность). Кончается ненужная суэта, разжиженность мысли и души, кончается благодушное, ленивое, унылое приятие мира. Творец как бы выключается из повседневности, из бесцельного и вязкого ее течения, и тогда он слышит «иную речь», где «уместились бытие и вечность».

Встреча состоялась – «иная речь»: «Она идет, одета в письма, / По ясной глади чистого листа». Творчество, «иная речь» – единственное, что оправдывает, преображая, наличную реальность.

Поиски завершены, во всяком случае в пространстве «Долины Гофета»; найдена родина, духовная, – «иная речь». Поэтому стихотворение «Над топкой жизнью памяти настил...» есть итог поисков поэта; оно вместе с другими, вполне автономными стихами (кроме «XVII века...» и «Различить нету сил у меня...», которые очевидно выпадают из общего строя) образует единое поле духовной напряженности книги.

Теперь о недуге. В завершающем сборник стихотворении есть признание: «Я декадент...» Признание это – если хотите, манифест, декларация – слегка эпатажное, немного излишний постскриптум: всем прежним в книге было уже сказано: «Это я». Но не это главное. Главное то, что назван недуг. Декадент – это певец упадка, разрушения, смерти... И вправду, вся книжечка (имеется в виду ее скромный объем) насыщена огромным на единицу текста чувством безнадежности, тщетности, пессимизма. Всем тем, что настигло нас после войны. Время (прошу извинить за трюизм), в котором живем, точнее, стоим, так или иначе нас «клеймит» (и клеймит). Лепсая показал нам это зловещее клеймо. И надо пройти через очистительный огонь всежжения, через жертвы и муки смерти, чтобы возродиться к новому. В этом, наверно, и символический смысл названия книги. (Долина Гофета – местечко близ Иерусалима, где совершались человеческие жертвоприношения.)

Лепсая словно предлагает нам иной род мужества, нежели проявленный в войну. То было больше физическое мужество, теперь же, чтобы нам оформиться в государственный народ, необходимо еще интеллектуальное и духовное мужество.

Я признаю некоторую сомнительность последнего логического шага. Стихотворение, поэзия – не руководство по обустройству страны, хотя иногда и возможно снисхождение к злобе дня. Сборник, о котором идет речь, неявно, мало привязан к текущему моменту, он написан, скорее, на злобу вечности. В ней есть узнаваемые приметы времени, та конкретика, без которой всё

смотрелось бы куда бледнее, беспочвеннее, беспричиннее. Но, отраженным светом, это и о нас, о нашем сокровенном, о том, что мы, может быть, и не знаем в себе или боимся узнать, что немо, безыменно бродит в нас. Поэт дает имя этому, иначе и не бывает, когда мы имеем дело с настоящей поэзией. Разве оставленность, сиротство, которые ощущает поэт («я искал наставников, и не нашел их», «я один под этим небосводом»), выражая общее онтологическое состояние человека во враждебном мире, не есть в то же время и наше сегодняшнее состояние (в несколько иной плоскости), то, куда мы оказались заброшенными с тяжелой ношей свободы? Мы теперь с миром на «ты», мы уже не под крылом огромной империи, нас не водит жесткая и «заботливая» ее рука.

Продолжая начатый «логический ряд», я бы сказал, что Лепсая побуждает нас расстаться с иллюзией, что в этом мире можно стать, быть через что-то внешнее, например через мифы о прошлом, или, если «заземлить», примкнув, якобы спасительно, к чему-то – скажем, к «великой державе». Надо найти свою, «иную речь».

Есть ли в этой книге отзвуки, влияния? Бесспорно, есть. На поэта, как, впрочем, и на каждого человека, влияет всё, что он встречает в жизни: узор прожилок осеннего желтого листа, обрывок малозначащей фразы, случайный взгляд случайного прохожего, прочитанная книга, обмолвка в ней о другой, не читанной... Только поэт, в отличие от «обычного человека», все эти разнообразные впечатления, с склонностью к дурной бесконечности, отливает в нечто законченное, стройное – в стихи.

И потом, влияние влиянию рознь. Одно дело, когда чувствуется, что автор не невежда и знаком с опытом мировой поэзии, и другое – когда видим прямые подражания и нескрываемые перепевы. Отзвуки и влияния в данном случае (о прямых подражаниях и перепевах нет и разговора) больше говорят об образованности, нежели об ученичестве и несамостоятельности.

Рассматривая «Долину Тофета» как целое, нельзя забывать и о предисловии к ней, озаглавленном «От автора». Оно – не традиционный довесок к книге, а скорее краткая духовная автобиография, а также взгляд автора на поэзию, художественный текст. Но есть в нем один существенный момент, с которым трудно согласиться. Я имею в виду желание автора представить дело так, будто его «обращение к поэзии» – некоторым образом сознательный акт. Решение писать стихи, как и всякое творческое побуждение, вызревает, по всей видимости, в иной глубине, нежели сознание. В сознании мы имеем лишь отголосок того, что решилось помимо нас и что мы потом ложно приписываем своему волевому акту. Можно сказать иначе: мы осознаем только эхо нашего предназначения, но явно и полно оно, знание нашего дара, нам не дано, не схватываемо собственным умственным усилием. Поэтому здесь простым перебором различных жизненных занятий редко попадают в «десятку». Да и поэзия, наверно, не уместается в обычный ряд человеческих занятий. Поэтому я позволю себе не верить в несколько самонадеянные слова автора, что он-де обратился, решил.

На это можно было бы и не обратить внимания, если бы данная мысль не звучала, наряду с другими высказываниями, как концептуальная установка автора и тем не вызывала бы некоторые опасения возможным в его поэзии нежелательным креном в сторону рационалистичности.

Я думаю, что в «Долине Тофета» Лепсаей изжит наш извечный комплекс провинциальности. Провинциальность – это ведь не только географическое и административное понятие. Это еще и состояние духа: можно жить в «столице мира» Париже и быть дремучим провинциалом; можно знать назубок «Критику чистого разума» и оставаться в кругу провинциальных умствований; и – жить где-то на отшибе, в безвестности, и быть «столичным». Температура чувств и интеллектуальная страсть, а шире – незаменимый духовный опыт делают нас жителями столицы – духовной, единственной настоящей столицы мира. Для

этого надо пройти путь от зыбкого, вялого, трусливого в себе до кинжальной ясности, мужественности и энергичности духа. Ничто внешнее здесь не играет определяющей роли. Нужна искра, только тогда может что-то произойти. Тогда всё внешнее будет только поводом, главное будет происходить внутри нас. А ущербная и убогая душевная жизнь при всех своих потугах не может выйти за пределы провинциализма.

Абесалом Лепся, несомненно, «столичный житель». С чем я его и поздравляю.

1999

(Газета «Эхо Абхазии», 1999 год.)

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

О романе Даура Зантарии «Золотое колесо»

Недавно в Москве отдельной книгой вышел роман Даура Зантарии «Золотое колесо», перед этим напечатанный в журнале «Знамя» (1997, № 3, 4).

Один из парадоксов нашего смутного не только в политическом, но и в литературном отношении времени – мне приходится писать о произведении, неизвестном подавляющему большинству аудитории, к которой обращаюсь: ведь в Абхазию были завезены лишь считанные единицы как журнального, так и книжного варианта романа. Это тем более обидно, если учесть, что мы имеем дело с первой, по существу, попыткой художественного осмысления панорамы тех событий, которые привели к грузино-абхазской войне 1992–1993 годов. В связи с этим мне придется здесь в гораздо большей степени, чем сделал бы в иной ситуации, заниматься пересказом основных линий романа.

«Золотое колесо» написано на русском языке. При этом в роман вкраплены некоторые тексты, которые ранее публиковались и на абхазском, и в переводе с абхазского на русский.

Сюжет романа ветвист. Начинается повествование с событий глубокой древности, когда Абхазию захватили «нечистые». После многолетней войны Витязь Хатт и его сподвижники изгнали их. Страна стала процветать. Но недолго: междоусобица, отказ от веры отцов опять ввергли ее в беду, и «царства не стало». Символом упадка, начавшегося тогда, выступает Владычица Рек и Вод. Из божества, которому поклоняются, она постепенно превращается в «простую русалку-адзызлан» и поныне живет в Мутном Омуте, одинокая и никому не нужная.

Из седой старины мост перекинут в современность. Перед нами многонациональная Абхазия. В душной, предгрозовой общественно-политической обстановке назревает межэтнический взрыв. Все герои прямо или косвенно вовлечены в противостояние абхазов и грузин, оно подминает их судьбы. Незадачливый мингрельский паренек Могель покинул родную деревню Великий Дуб в Западной Грузии, «подчиняясь стихийному движению на запад». Но его желание «жить в прекрасной и нежной Абхазии» имело трагический исход: случайно оказавшись на грузинском митинге, он затем гибнет в кровавом столкновении. Абхазка Наала, молодая жена Могеля, повесилась. «Городской абрек» Матута, живущий, по понятиям криминального мира, вне национальной принадлежности, оскорбленный наглостью «известного актера и неформала Александра Бобонадзе», ранил его из пистолета. При других обстоятельствах Матута отделался бы сравнительно легко, дав взятку, но дело получило огласку и стало принимать политический оттенок. На второй же день телевидение показало «обезображенную сепаратистами задницу актера». Матуту арестовали и уперли в тюрьму.

«Государственный деятель и Божьей милостью поэт» Григорий Лагустанович (один из колоритных и удачных образов романа, прототип которого, как и многих других героев, легко узнаваем), чья жизненная мудрость уместилась в универсальную бюрократическую формулу «Надо волынить!», перед смертью признается своему незаконнорожденному сыну Имярекбе, типичному образчику демагога и «патриота», что его матерью является известный грузинский национальный деятель, профессор Имярекидзе. На вопрос Имярекбы, почему они не поженились, Григорий Лагустанович отвечает: «Это было невозможно. Вся ее жизнь отдана ее народу, а вся моя жизнь – моему». И смешно, и грустно.

В Абхазию, как мухи на запах крови, слетаются различные международные «наблюдатели» типа престарелого француза мосье Крачковски. «На местах, чреватых конфликтами, Крачковски устраивал пробеги мира». Разумеется, после него конфликт дозревал до кровавой сшибки. Таков и многоликий и вездесущий представитель одной зарубежной миротворческой организации Лодкин. Он то здесь, то там мелькает в романе, всегда в новой маске.

Упадок нарастает, иронически контрастируя с высокопарностью оглавлений. «О бренности телесного», «О быстротечности времени», «О кладезях мудрости», «О пленниках мирской суеты», «Об играх Эрота» – вот некоторые главы, в которых речь идет о самом что ни на есть заурядном, банальном, а иногда и попросту пошлом. Автор путем сопоставления идеала и его суррогата развенчивает реальность. Она, потеряв высоту и значительность своих проявлений, безвкусно рядится в цветистое, вычурное. Одновременно автор органично включен в текст, он полноправный соучастник фарса, разыгрываемого жизнью. Он отнюдь не чурается реальности, а принимает ее: своими ужимками, гаерством он заодно с ее игрой; за каждым сюжетным изгибом автор подмигивает нам. Вместе с тем он – бесстрастный, даже холодноватый летописец: случающиеся с героями маленькие и большие радости

и беды даны отстраненно, «несочувственно», порой неуловимы предпочтения, симпатии автора.

Словоблудие новоявленных вождей, тоже цветистое, вычурное, рассчитанное на предрассудки и агрессивность толпы, дает свои плоды: роман заканчивается войной. При этом все персонажи «Золотого колеса» захвачены водоворотом событий, они безгласно, безропотно идут навстречу беде. Хотя некоторые и предчувствуют ее, мы так и не услышим разумного и предостерегающего голоса. Из этого можно сделать неутешительный вывод: человек бессилён переломить ход истории, что бы она ни несла ему. Как учил Витязь Хатт, «всё, чего не было, – будет, а всё, что было, – повторится». Следовательно, «нечистые» вновь придут, но уже в другом обличье, что провидел другой герой романа, князь Акун-ипа. Они пришли – и «нет мира под инжирами».

«Нечистые» после первых страниц романа в последующем повествовании не упоминаются, хотя их шлейф постоянно присутствует. Зантария не дал «нечистым» дорасти до всеобъемлющего символа, подобного эндурцам Фазиля Искандера. Я думаю, помешала деликатность темы. Неизбежное разночтение, приятное для абхазов и обидное для грузин, во многом обесценило бы «интернационалистский» и «миротворческий» пафос романа.

В аннотации к книге сказано, что «Золотое кольцо» – своеобразное художественное исследование возникновения этноконфликта, этой чумы конца тысячелетия. Но вообще-то этноконфликты являются неразлучными спутниками человечества на протяжении всей его истории... И эпоса, того, которого, например, ждали бы в Абхазии, в романе не получилось. Ирония, порой уход автора в ерничество ставит под сомнение вовлеченность героев во что-то важное, «судьбоносное». Они, скорее, являются послушными участниками балагана.

В начале этой статьи я с досадой констатировал, что до широкого читателя в Абхазии роман не дошел. Но нетрудно предположить, что многие у нас наверняка восприняли бы книгу в значительной мере негативно, обвинив автора в том, что он занял позицию «над схваткой», во всяком случае – что его не волнуют ни исторические корни, ни глубинные причины грузино-абхазской войны.

И в этих обвинениях, очевидно, было бы зерно. Реальность, с которой имел дело Зантария, по-видимому, и не могла быть правдиво выражена в таких иронично-прохладных тонах, игриво. Но что делать, Зантария – ироник и насмешник; корень зла для него – не противоречия бытия народов, а, соответственно ироническому измерению романа, издавна декларируемые обеими сторонами «единение и независимость», что делает их заложниками уже известного «всё, что было, – повторится».

В «Золотом колесе» нет выделенного героя, вокруг кого строилось бы всё, кто был бы средоточием интриги, кто бы прошивал собой весь роман, собирая и организуя его в одно целое. Оттого он рыхл, не сбит крепко. Рыхл еще и потому, что собран из художественно и идейно неравноценных кусков, в которых не всегда ощущается дыхание ведущей темы; куски эти часто слишком автономны и не работают на скрепление текста в единую гармоничную картину.

Роман этнически перенаселен, и даже то обстоятельство, что Абхазия и была таковой в описываемый период, не вполне оправдывает эту перенаселенность. Чувствуется некое стремление автора к «экзотичности», он словно щеголяет своим знанием нравов и быта различных социальных и этнических групп.

Малоубедительна линия Мазакуаль, собаки Могеля, и других животных, населяющих «Золотое колесо» с такой же чрезмерностью, что и представители разных национальностей. Среди этой фауны – гамадрил Спартак, павлин Вишнупату, петух Арсен... Кроме голый описательности, самой по себе

довольно живописной, «зоологическая линия» не несет мало-мальски интересной мысли, смысл ее не нащупывается. Такая перегруженность романа персонажами, будь они люди или звери, делает его несколько хаотичным и расплывчатым. Герои не объемны, плоскостны, они как бы не отбрасывают тени; какая-то изначальная заданность мешает им самореализоваться в тексте.

При этом в прозе Зантарии есть свое обаяние, есть легкость, правда временами переходящая в легковесность; есть замечательный лаконизм и точность деталей; есть то неуловимое и покоряющее, что мы зовем многозначным и многообещающим словом «талант».

Переход писателя на другой язык ставит вопрос, насколько эффективно использует он его в передаче национального характера и мироощущения, которые в большей своей части уже даны в родном языке. Сумел ли Зантария приспособить русский язык к нуждам творческого самовыражения абхаза? В «Золотом колесе» звучит «абхазский акцент». Может, не так внятно, как в прозе Искандера, но чуткому уху он слышен. (Объяснимо и другое сопоставление Зантарии с Искандером. Влияние последнего ощутимо в «Золотом колесе», некоторые фразы – прямо-таки калька искандеровского письма.)

Среди побуждений, заставляющих писателя прибегнуть к чужому языку, можно назвать несколько. Творческое, когда инструментальный литературно лучше разработанного языка облегчает ему задачи самовыражения; и не творческое: желание прийти к иноязычному читателю – как правило, более многочисленному, чем отечественный, что служит еще одним стимулом, – не через перевод, который зачастую не в силах донести все особенности оригинала, а напрямую; а также честолюбивое стремление «покорить» иноземную речь.

В случае с Зантарией, видимо, присутствуют – в разной пропорции – все эти моменты. Но можно усмотреть и другое: желание выйти из существующей в нашей словесности традиции – стилистической, образной, идейной, диктуемой

языком, из наработанного мировоззренческого и эстетического клише, с тем чтобы найти свой ключ к абхазской действительности конца века. Отдалиться, чтобы лучше увидеть.

Зантария отдалился от сегодняшней Абхазии (чужой язык – достаточное отдаление от «корней»), но пока, при несомненных отдельных удачах, мне кажется, он не нашел того «языка», на котором полно и адекватно самовыразился бы в своем отношении к ней.

1999

(Газета «Эхо Абхазии», № 18 (182), 11 мая 1999 года.)

«Я ВЕРНУЛАСЬ ОДНАЖДЫ...»

О поэзии Гунды Куцниа

Говорить о ее поэзии чрезвычайно трудно: слишком уж необычаен создаваемый ею образный мир. Наверно, потому наша критика в недоумении застывает перед ее стихами. Не умещаются они в известные схемы и формулы.

Ее дебют был отмечен скандалом, тем шоком, которым обычно сопровождается появление сильного и самобытного поэтического голоса. К сожалению, основная часть нашей литературной жизни проходит, как это ни парадоксально, устно: в долгих разговорах за чашкой кофе, на перекрестках при случайных встречах... Но мало кто из наших литераторов, в особенности критики, обременяют себя тем, чтобы написать что-то, выразить свое отношение к тому или иному событию литературы. Поэтому, не боясь попасть пальцем в небо, можно назвать нашу литературную критику «устной» (к счастью, самой литературе пока это не грозит, хотя, как знать, может, ее

фольклорное начало станет и ее концом), в отличие от подлинной критики, живущей исключительно написанным текстом. Только этим объясняется «письменное» молчание вокруг поэзии Гунды Куцниа. Хотя похвалами, как и хулой, резким неприятием она не обделена (опять-таки изустно).

Если говорить о неприятии, то главное обвинение в адрес Гунды Куцниа сводится к тому, что она де слишком вольно обращается с языком, а то и «насилует» его. Есть категория литераторов, никогда не имевших мужества перешагнуть за грань известной грамматики и ступить в неизведанную область звуков и созвучий, искать смысл-мысль не только в зерне слова, но и в звуке, и музыке, которыми слово врывается в мир. Они, как правило, ревнители «чистоты языка» и принимают в штыки любого, кто осмелится нарушить привычные нормы. (С одной стороны, такое ревнивое отношение к нашему языку понятно: язык наш – чуть ли не единственное бесспорное достояние, по праву являющееся фундаментом нашей культуры.)

Не отрицая некоторой чрезмерности словесной акробатики в стихах Гунды Куцниа, надо сказать, что она, наоборот, возвысила достоинство нашего языка, показав его поразительные возможности, таящиеся в нем глубины. Поскольку поэт как бы сам является орудием языка, а не язык – его инструментом, как обычно думают, то вернее будет сказать, что язык, вдруг возжаждавший свободы, через поэта раскрывает свои залежи, свою бездну. Долго наш язык развивался вольно, потом его заключили в рамки письма: он стал литературным, то есть чем-то устоявшимся и нормированным, обязательным для всякого, кто вознамерился переложить «чувства и мысли» на бумагу. Отныне как бы был образец, от которого надо было отталкиваться, при этом особо не отдаляясь.

Но языку, так долго существовавшему привольно, надоело звучать с некоторым самодовольством общепринятого и узаконенного инструмента

литературы. Он «взбунтовался». Этот «бунт» мы и наблюдаем в поэзии Гунды Куцниа.

Язык затосковал по заговорам и ворожбе древности, по изначальному единству вещей. Мироощущение большинства стихов Гунды Куцниа – мироощущение ребенка. «Большого взрыва», расчленившего и раскидавшего мир на одиночества недолговечных собственных имен, еще не было. А было детство, раз и навсегда (навсегда ли?) потерянное нами, был «золотой век». Ведь мир ребенка синкретичен, в нем всё сплавлено в гармонии и свете. Там нет верха и низа, левого и правого, черного и белого, добра и зла... Вернее, есть одно лишь добро, огромное, как огромен мир в глазах ребенка, а зло в гордыне самомнения еще не успело отпасть от добра.

В стихах Гунды Куцниа человек еще не выделился из мира, пуповина не перерезана, «я» не произнесено. Конечно, в ее поэзии «я» присутствует как лирический герой. Но это паллиатив, дань поэтической условности, поэт только по необходимости прибегает к нему. Это «я» всеохватно, оно вмещает в себе весь мир. Поэтому выделить в литературоведческом рвении определенную тему в ее поэзии невозможно. Ее тема – вся жизнь, целиком. Корка времени, которая выросла на наши души и которую мы зовем «жизненным опытом», отводит каждой вещи вокруг нас «удобное», «общепринятое» место. Перефразируя поэта, можно сказать, что мы разъяли мир на иерархии; и такой ранжированный мир, мир, разложенный по полочкам и баночкам со слинявшими, обветшалыми надписями-именами, кажется нам более понятным и близким, более родным.

Гунда Куцниа разрушает порядок, установленный «взрослым» человеком. Она сближает вещи, которые, казалось, разделены непреодолимой пропастью – и этим обнажает их суть. В пространстве стиха они обретают согласие, изначальное единство, которого мы уже не замечаем, не чувствуем: слова заслонили мир, отдалили его от нас. Мы имеем дело не с самими вещами, а со знаками, которые обозначают эти вещи. Но если услышать слово – что и делает

поэт, – то мир предстанет перед нами новым, во всей наготе первозданности. Если взять музыку как синоним времени – протяженного ряда изменений, то, благодаря поэту, мы оказываемся у истока этой музыки.

То, что делает Гунда Куцниа, к сугубо поэтической технике, к «приему» имеет малое отношение. У нее нет так называемого «мастерства», то есть выдуманных средств, чтобы схватить действительность, завлечь ее в известные силки, сделать стих всего лишь словесным переложением видимого. Что за видимым, что за горизонтом – вот что интересует ее. Потому «не похоже», «не так, как есть на самом деле». Это – видение мира своими глазами. Мир увиден изнутри, из чрева, где он еще слепо тычется в окружающую тьму в неодолимой тяге к свету.

В стихах Гунды Куцниа свет этот явлен нам.

2001

(Журнал «Колокол», № 2, 2001 год.)

МОЛЧАНИЕ БАГРАТА

Поэта судьба – а судьбой ему одиночество – настигает в самых разных обличьях и в самое разное время. Судьба имеет свойство неизбежности. Она может многие годы носить маску доброжелательства, снисходительности, а то и безразличия, стороннего равнодушного наблюдателя: она как будто не вмешивается в плавное течение жизни поэта, но ждет своего часа. Поэт иногда обманывается этим, тем более при «понимании» и «высокой оценке» современников и «любви народной». Поэт может пойти на сговор с судьбой и поверить, что ему возможно в этом безысходном и обреченном мире устроиться более или менее «благополучно», что можно разъять свое единство на две

равновеликие половины – на поэта, открытого всем ветрам, и обыкновенного человека, захотевшего «счастья».

Но это самообман, поэт знает это лучше чем кто-либо, и игры в благополучие рано или поздно заканчиваются прорывом его настоящего голоса, скорбного и трагического.

На первый взгляд, судьба была к нему благосклонна, у него было всё, о чем может мечтать простой смертный. Но всё это внешнее благополучие – здоровье, деньги, чины, слава – не затмило для него всей трагичности человеческого удела. Иначе не было бы строк, в которых бушуют ветры беспощадного рока. Баграт Шинкуба не раз приводил своих наивных современников в замешательство стихами подлинного трагического пафоса. Наряду со светом и теплом жизни он показывал мглу и холод существования. В какие бездны при этом заглянул поэт, оставалось тайной для них. «Баловень судьбы, что ему неймется?!» – был недоуменный вопрос близорукой публики.

Это было не только «мироощущением» поэта, но и предчувствием беды. Беда не замедлила явиться на землю, красоту которой мало кто сумел так проникновенно и глубоко прочувствовать и передать нетленными словами, как Баграт Шинкуба.

Чины, слава, «любовь народная» не создают поэта. Истинное его значение проступает на листе времени подобно зашифрованному письму, когда стихает шум вокруг него и когда он сам по тем или иным обстоятельствам умолкает. Молчание иных великих поэтов для современников более значимо, чем их стихи. Молчание как бы отдаляет живой и знакомый облик поэта-человека, и становится виднее весомость и непреходящность сделанного им. Поэт своим молчанием продолжает говорить то, что он говорил и раньше, но что не было услышано. Молчание иных не менее содержательно, чем их слово. В вакууме, то есть в «ничто», сосредоточена колоссальная энергия, быть может, та сила,

которая создала Вселенную. Так же и в молчании. Особенно в молчании поэта, в молчании человека, преданного слову, служению слову посвятившего жизнь.

Молчание Баграта – как укоризна всем нам, всему тому недостойному, что у нас происходит. Его молчание – это и надежда, ибо, оказывается, можно и в этих условиях всеобщего обвала и разрушения оставаться незыблемым островом свободы и духовности, носителем исконной культуры абхазов, в которой честь и достоинство человека превыше всего. В дни духовной смуты и нравственного разброда, опасного крена, а то и размывания вековечных устоев нашего народа молчание народного поэта воспринимается как требовательный призыв прислушаться к себе, к собственному сердцу, оставив ненужную суету, забыв дразги, когда мы не знаем, что делать с обретенной свободой, не можем поделить несчастную страну между собой.

Великое одиночество Баграта Шинкубы среди нас, рядом с нами, его присутствие-отсутствие не только знаково для поэта вообще (знаменитое пушкинское: «Поэт... живи один...»), но знаково и для нашего времени, когда наш народ пребывает в одиночестве и духовном смятении, вопрошая вдруг открывшиеся горизонты о смыслах прошлого своего и будущего. И над всеми нами возвышается во всем своем величии светлый и мудрый образ этого человека, охраняющего рубежи нашей духовности, те пределы, за которыми – забвение, тлен и прах.

Для нас тайна, чем занят этот гордый и могучий дух сегодня. Но в том, что он не надломлен и не сник при виде разора, в котором пребывает страна, пребывает наша культура вообще, можно быть уверенным.

Нет счастливой и несчастливой судьбы, но есть каждому его путь, который он, и только он один, должен пройти до конца. И поэт на этом пути имеет уделом, в отличие от прочих смертных, оставлять «сердца горестные заметы».

Немало таких замет оставил нам Баграт Шинкуба. И всё же он остается поэтом света и тепла, поэтом неиссякаемой надежды, которой жили и живут абхазы и Абхазия.

2002

(Информационно-аналитический журнал «Гражданское общество», № 20, 26 июня 2002 года.)